

**Валерий Бочков**

## **ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛАЗ**

Юность, как ни крути, жестокая пора. Самый безжалостный возраст. Розовые детские слюни и сладкое сюсюканье: ну кто тут самый красивый и самый умный? Ну, конечно, же ты, кто же еще? И сказочки на ночь, и шерстяные носочки с теплой батареи, и самый вкусный кусочек кому? Конечно, конечно тебе, радость моя.

И вдруг все это позади.

Еще вчера ты был центр мироздания, прекрасное и несравненное солнце, сегодня — занюханый болид в круговерти холодного космоса. Нет, ты, безусловно, подозревал, что модель вселенной слишком уж идеальна, были-были сомнения — не дурак же, да, догадывался — есть тут некая фальшь. Слишком уж все вокруг протекало счастливо-солнечно, как-то даже с перехлестом, определенно подвох где-то таился. Но чтоб такой! Чтоб настолько!

Успешно преодолев мучительную пору полового созревания, ты уже не беззаботное дитя с лучистым взглядом — кудряшки, матроска, — херувим на фоне полевых венков, утренних жаворонков и добрых собак борзых пород, но еще и не матерая особь мужского пола — сигарета, трость, перстень на мизинце, вечерняя щетина с духом английского одеколona и французского коньяка.

Ты — ни то, ни се. Уже не гусеница, но еще и не бабочка.

Ты юн, неопытен, наивен — цинизм придет позже. Нет, не то чтобы с годами ты станешь умнее, просто научишься уворачиваться и прикрывать мягкие ткани и болевые точки. Научишься имитировать и симулировать. Подпишешь двусторонний пакт с самим собой, пакт о сотрудничестве и взаимопомощи. С годами процесс компромисса станет простым и почти приятным. Чем-то вроде облегчения после рвоты.

В юности впервые познаешь истинную суть одиночества. Космического, вселенского одиночества. Понимаешь, что именно одиночество лежит в основе твоего бытия. И именно поэтому в юности так важно иметь настоящего друга. Мне повезло — у меня был такой друг. И его звали Венька Шухов. Но история эта не про Веньку, а про его отца — Шухова-старшего. Про дядю Славу.

Мой отец не дожил до пятидесяти — инфаркт, я еще учился в школе, помню, меня вызвали в кабинет директора прямо с контрольной по химии. Помню, шел-гадал по пустым коридорам, по гулким лестницам — чего я такого натворил, чтоб с контрольной да к директору? А через неделю дура-соседка с девятого, потеснив меня в угол лифта своим каракулевым телом,

спросила доброжелательным тоном, каким обычно интересуются из так называемой вежливости о вещах вполне известных, вроде вчерашнего ливня или недавней поездки в Ялту; так вот эта каракулевая идиотка, невинно улыбаясь жирно напомаженными губами, спросила: «Ну что, папа умер?» Я по сей день пытаюсь найти приемлемый ответ на ее вопрос.

Закат советской империи. Те времена сейчас кажутся вегетарианскими и гладкими, почти пасхальными: Москва наводила марафет, готовилась к летней олимпиаде, в Афганистане наши солдаты строили школы и детские сады, аскетизм сталинской поры сменился брежневским сибаритством — очухавшийся народ прибывал к стенам восточные ковры из Душанбе и вешал хрустальные люстры производства ЧССР. Избранные счастливицы обзавелись финскими дубленками и кожаными пиджаками. Джинсы перестали быть штанами вероятного противника. В ларьках появилось югославское «Мальборо».

Венькин отец, дядя Слава, «Мальборо» не курил, он курил трубку. Этих трубок у него была целая армия, дюжины три, не меньше. Вересковые «Данхилы», «Орлики» из вишни, трубки короткие и трубки длинные, с чубуками гнутыми и прямыми, трубки лакированные и с грубой, точно обожженной, насечкой стояли на резных деревянных подставках, как экспонаты в краеведческом музее. Одна, яблоневая, коренастая и прокопченная, по слухам, некогда принадлежала самому Сталину. В коллекцию трубка эта попала через третьи руки — от друга Миши Шаповалова, чей учитель был сыном личного охранника Иосифа Виссарионовича. На черном эбоните мундштука виднелись следы от острых зубов генералиссимуса.

По просторным комнатам с высокими лепными потолками — квартира занимала верхний этаж старого доходного дома на Пречистенке, плыл медовый дух трубочного табака. Сорта его назывались таинственно и элегантно — «Амфора», «Клан», «Мак Барен», сам табак хранился в круглых жестянках, похожих на добротные банки из-под дореволюционного монпансье. Божественный табачный аромат, похожий на запах теплой карамели, да еще ковры по полу и дубовые панели по стенам, картины в тусклой бронзе старых рам, тертая кожа благородных кресел — казалось, что, перешагнув порог, ты навсегда оставлял за спиной шершавую простоту советского быта, неуютного, коммунального, провонявшего насквозь потом и щами, завистью и матюками, и погружался в какую-то нереальную, добрую и почти сказочную вселенную, где под стеклом янтарных абажуров велись уютные беседы, а за окном невинно топорщились макушки вечерних лип с беззаботным чириканьем мелких пичуг. Синева над бульварами наливалась лиловым, она вполне могла сойти за тихие парижские сумерки, если бы не дальний контур высотки, этот хищный стилет с колючей звездой на самом острие жала.

Мой друг Венька был единственным ребенком в семье. Не могу сказать, чтобы его баловали как-то уж особенно, он просто получал все необходимое. Тряпки и вещи, за которые мои сверстники без разговоров заложили бы душу, Венька получал как нечто само собой разумеющееся. И не его вина, что товары эти были выписаны по каталогу «Питер Истерманн» или запросто привезены из Лондона или Нью-Йорка, — Венька из всех моих знакомых с наибольшим равнодушием относился к ярлыкам на рыжей замше или к этикеткам на божественно-голубой джинсе. И равнодушие это, поверьте мне, не было напускным.

Разумеется, Венька закончил английскую спецшколу и, разумеется, поступил в институт. Точнее, в университет, МГУ, на факультет журналистики. Его приняли бы и в МГИМО, просто до журфака ему было удобней добираться. Мой друг был убийственно рационален — он свято верил, что любое телодвижение должно быть оправдано логикой и подтверждено здравым смыслом. Многие принимали это за лень, что неудивительно в стране, где «мерилом работы считали усталость». Тем же сентябрем я с трудом протиснулся на художественно-графический факультет московского пединститута.

Многие друзья-приятели наши тоже поступили в вузы, менее удачливые спасались от армии. Спасались, кто как умел — Вовка из испанской школы, провалившись в Мориса Тореза, устроился электриком на какой-то оборонный завод, Калугин получил бронь в Курчатовском, у Арахиса нашли какую-то редкую болезнь в ноге и комиссовали. Гусь, утонченный эстет, похожий на художника Модильяни, прятался в Кашенко. Женя Ложечников выбросился с девятого этажа. Сашка Купидонов сел за мошенничество. Потом, спустя много лет, я узнал, что его зарезали во Владимирской пересыльной тюрьме. Таким вот макаром мое поколение плавно вползало во взрослую жизнь.

А во вселенной у Шуховых, в их карамельных гостиных мягким фоном звучал насмешливый и чуть пьяный баритон Дина Мартина, звонкоголосая Венькина мамаша, тетя Люся, смуглая маленькая хохотушка, развеселая и больше похожая на ладную таитянку, чем на татарку, обносила гостей подносом с коктейлями из настоящего английского «Гордонса» со льдом, тоником и ломтиком лимона. Или угощала запотевшим чешским «Будваром» и отборными вареными раками, от коралловой горы которых валил укропный пар.

И гости, шумный хоровод которых казался бесконечным, — они точно были отобраны каким-то кастинговым бюро по признакам изящества позы, благородности посадки головы или звучности фамилии: известный актер в белом свитере с высоким воротом, похожий на полярного летчика, дочь знаменитого скульптора и знаменитый скульптор, но другой, и популярный хоккеист с рассеченной бровью, и пара пережившихся маршальских детей с улицы Грановского, и модный усатый режиссер в шелковой жилетке с убедительными повадками русского барина. Скромно закусывал водку маринованным опенком почти великий

поэт и певец (ненавижу слово «бард»), а в углу, отражая полированной лысиной огни люстр, развлекал дам карточными фокусами телеведущий клуба путешествий. Заносило сюда и иностранцев — шумных румяных американцев и диковинных черно-белых парижанок, высокомерных англичан и неинтересных, по-русски простоватых, шведов. И над всем этим, точно добрый языческий бог, в клубах медового дыма, не очень пьяный, но очень веселый, закусив белыми зубами эбонитовый мундштук трубки, царил Шухов-старший. Дядя Слава.

Осанка и профиль, а может, прямолинейность характера, выраженная в жестах и фразах, честность и правильность суждений — он никогда не лукавил и не хитрил, запросто мог подраться, как-то при мне он заступился на улице за незнакомую женщину и ловко набил морду какому-то хаму, — все это очень импонировало. К нам, Веньке и ко мне, он относился без скидок на возраст, — серьезно и по-взрослому. Сейчас мне кажется, что он действительно считал себя ответственным за наше воспитание, ответственным за то, какими мы вырастем людьми. Звучит банально, почти пошло, но лучше не знаю, как сказать. Он не видел вреда в книгах, даже изданных там и запрещенных тут, мы взахлеб читали Солженицына и Зиновьева, Сашу Черного, Набокова, Пастернака и прочих отщепенцев, напечатанных «Посевом» и «Имка-пресс». Смешно сказать, но даже «Собачье сердце» считалось антисоветской крамолой. Впрочем, если вдуматься, почему даже?

Бывало, мы выбирались на рыбалку. Дядя Слава был рыболов страстный, мы с Венькой рыбачили так, за компанию: закинув удочки и свесив за борт лодки пудовые болотные сапоги, мы трепались, курили, тайком пили контрабандный коньяк из плоской хромированной фляги. Каким-то полузабытым августом мы забрались аж в Прибалтику, под самую Ригу. Две незабываемых недели жили в палатках на берегу лесного озера, среди высоченных сосен, готовили на костре. Таскали килограммовых щук на спиннинг, собирали ведрами крепкие, как кулак, подосиновики, на соседнем хуторе у жилистого старика по имени Эдвард покупали свежие яйца и копченую грудинку. Мрачность латышей оказалась явно преувеличенной — Эдвард с аппетитом хлебал наваристую окуневую уху у нашего костра, угощал нас самогоном и домашним пивом. Приносил теплые караваи ржаного хлеба с дурманящим запахом свежего тмина. Смешно коверкая слова, рассказывал похабные русские анекдоты. Дядя Слава смущался, сам он матом почти не ругался, за всю жизнь я слышал от него всего полдюжины матерных слов, да и то употребленных каждый раз по случаю крайней необходимости. Эдвард любил выпить, от пылающих поленьев, горячей ухи и крепкого самогона, который он с ласковой улыбкой называл «водочка», его морщинистое лицо краснело, мощный нос наливался рубиновым жаром и блестел, как напояженный. Тем летом ему стукнуло семьдесят, что нам с Венькой казалось дремучей, почти библейской, древностью.

Именно тогда, на остывающем берегу сонного озера, под черными лапами сосен, в мою юную голову забрела нетрезвая мысль о том, что время — гораздо более относительное понятие, чем принято считать. Сейчас-то я убежден, что времени просто не существует: это понятие было придумано швейцарскими часовщиками и проходимцами, которые называют себя математиками.

Старик плел довоенные истории. Как он поехал в Ригу за отрезом «бостона» на выходной костюм, но бес его попутал и Эдвард прогулял все деньги в борделе.

— На углу Ульманиса и Лайма-иела, — давал точные координаты дома терпимости наш дед. — Как с Ратушной площади повернешь на Крукулю-мост, оно прямым и вот...

Говорил так, будто все это с ним случилось на той неделе. Нас с Венькой он спрессовал в единое целое и, если и обращался, то непременно к обоим сразу, называя нас чудным словом «мальцы», с ударением на «а». Дядю Славу почтительно величал «паном».

— Слышал, пан, люди болтают — водка зло. А водочка-то меня от смерти спасла.

Выяснилось, что Эдвард — самогонщик со стажем. Начал гнать еще до войны, гнал из картошки (як поляци), экспериментировал с яблоками, пробовал рожь и пшеницу, добавлял крыжовник и смородину, настаивал на березовых почках. Сам скумекал насчет тройной очистки углем, перед самой оккупацией стал чемпионом Нижней Латгалии по самогоноварению и был награжден дубовым венком и денежным призом в двадцать латов. В те былинные времена у Эдварда, прямо как в сказке, было два брата.

— А когда ваши пришли, — так уклончиво описал он оккупацию своей страны нашей в сороковом году, — забрали в Красную Армию старшего брата. Пришли забирать меня — я советским командирам водочки налил, да и говорю: «Оставьте меня дома, добрые паны товарищи, ну кто вам еще такой самогон будет варить?»

Русские согласились с логикой латыша — ушли. В сорок первом Латвию захватили немцы. Началась мобилизация. Забрили в Вермахт младшего брата. Пришли и к Эдварду. С немцами повторилась та же история, что и с русскими. Так Эдвард не попал на войну и остался жив. Братьям повезло меньше — старшего убили немцы, младшего русские.

Догорал костер, угли пульсировали малиновым жаром. Коварное небо интимно придвигалось и бесстыже распахивало бархатную изнанку, расшитую звездной пылью. Огибая стволы сосен, из леса, как живой, выползал туман и плыл сонным призраком над черным стеклом озера. Заканчивалось лето восемьдесят третьего года.

Как это часто случается со мной, я упустил главное: расписывая канувшие в вечность пейзажи или вспоминая давно умершего латыша (земля тебе пухом, Эдвард), я напрочь позабыл рассказать о главном: а чем же все-таки занимался дядя Слава. Кем же он был?

Профессия Шухова по тем, доцифровым, докомпьютерным временам, считалась редкой, почти эксклюзивной — он работал фотокорреспондентом. Он был фотожурналистом и репортером, тоже с приставкой фото. Но дело даже не в этом, оставаясь абсолютно советским гражданином, он являлся специальным корреспондентом крупнейшего американского информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Или как дядя Слава по-свойски называл его — Эй-Пи. Щедрые американцы снабжали его новейшей аппаратурой и лучшими фотоматериалами: лучшей оптикой, последними моделями «Никонов» и «Кэнонов», упаковками пленки «Кодак» — цветной и черно-белой, коробками фотобумаги.

Агентство отправляло дядю Славу в командировки. Как-то на Чукотке он всю неделю арендовал вертолет, чтобы снять единственный кадр: с высоты птичьего полета раскрывается закругленный горизонт (такой эффект дает объектив «рыбий глаз»), из-за края земли выглядывает восходящее солнце, а по тундре навстречу камере, отбрасывая длинные розовые тени, мчится тысячное стадо северных оленей. Я видел эту фотографию, ее опубликовал на своей обложке журнал «Нэйшенал Географик».

Снимал он и спорт. Я часто видел дядю Славу на международных чемпионатах, он мелькал на экране телевизора за хоккейным бортиком с внушительным телевиком или, увешанный камерами, ожидал острого момента у футбольных ворот. Моя память запросто может нарисовать его спортивную фигуру (в молодости он играл в водное поло за сборную Белоруссии, к счастью — его слова — «у меня хватило мозгов завязать с водно-половыми играми и не превратиться в профессионального спортсмена») в кожанке или в охотничьем жилете с тысячей карманов, набитых коробками с пленкой, фильтрами для объективов и прочей фотомишурой.

Но главной коронкой фоторепортера Шухова была официальная съемка. Встречи глав государств, переговоры на высшем уровне, приемы и прочая парадная скучища.

— Скучища? — с боксерским азартом переспрашивал он меня. — Да будет тебе известно — это не только самый сложный вид съемки, но и самый интересный. Ты думаешь — щелкнуть эффектный гол или пируэт в фигурном катании — вот мастерство, да? Ничего подобного! Ты выбираешь правильную позицию, ставишь нужный объектив и ждешь. Просто ждешь. И если ты не заснешь, то наверняка сделаешь пару-тройку приличных кадров, которые будет не стыдно принести в контору.

Протокольная съемка совсем другое дело. На официальных встречах фоторепортеров запускают в зал всего лишь на минуту, запускают табуном. Там уж никто не церемонится, если тебе не удалось отработать в эту минуту — все, второго дубля не будет. Дядя Слава рассказывал, как легендарный Халдей снимал парад на Красной площади, а когда его точно так же, на минуту, запустили на мавзолей, чтобы сфотографировать отца народов, фотокор

обнаружил, что в камере остался последний кадр. Просить Сталина немного погодить пока фотограф зарядит новую кассету, явно не стоило. Халдей поймал усатое лицо в объектив, навел фокус, помолился и нажал спуск.

— И сделал гениальный кадр!

Дядя Слава тут же схватил с полки альбом, быстро пролистал. Нашел, раскрыл, ткнул пальцем в лоб тирана.

— Вот! Ну?! Живой, трагичный даже — в сотню раз лучше всех постановочных студийных портретов с выверенным светом и неумной ретушью. Ты пойми — страсть материальна. Энергия мастера обладает фантастической силой, она переходит в его творение. А если делать все с развязанными шнурками — как некоторые...

Он, громко захлопнув книгу, кивал в сторону сына. Венька к тому времени перевелся на вечернее отделение журфака и тоже начал снимать. Ему нравилась внешняя сторона профессии — увесистые камеры и объективы в бархатных мешочках, черные кофры буйволиной грубой кожи, повязка на рукаве с авторитетным словом «Пресса». Однако рациональная лень с годами переросла в почти религиозное сибаритство, и, если бы мне нужно было изобразить визуальную квинтэссенцию существа моего друга, то атрибутами к портрету стали бы диван, халат, плед и книжка. И другая книжка — он любил параллельное чтение и читал по несколько книг сразу. Стандартный комплект мог включать Акутагаву, «Жизнь животных» Брема и потрепанного Яна Флеминга в оригинале. Тут же на журнальном столике незавершенный пасьянс, плюс пачка сигарет с подручной пепельницей, неизменно переполненной окурками. Разумеется, подражая отцу, Венька начал было курить трубку, но и тут лень победила — куда проще сунуть сигарету в рот и чиркнуть спичкой, чем проделывать каждый раз тягостный ритуал с набивкой и кропотливым раскуриванием. Не говоря уже про регулярную чистку мундштука и чубука при помощи всевозможных лилипутских щеточек и войлочных шомполов. Не удивительно, что он перестал бриться и постепенно зарос внушительной бородой какого-то кубинского фасона. Потолстел. Татарская кровь мамы, взяв верх, постепенно придавала Веньке экзотический вид: смуглый в любое время года, с нечесаными вороньими кудрями до плеч, в золотых амулетах на мохнатой груди, он напоминал нечто среднее между греческим пиратом и опустившимся цыганским бароном.

Еще штрих — на их просторной кухне Венька пользовался креслом на колесиках. Оттолкнется ногой — и у холодильника. Оттолкнется другой — снова у стола. Так, не вставая, он совершал путешествия по кухне, снабжая себя всем необходимым. Безусловно, мой друг Венька был изобретательным малым, недаром же говорят: лень — мать всех изобретений. Да, еще — он начал прилично закладывать. Пил часто, пить предпочитал водку.

Я тоже выпивал, но пил умеренно. Защитил диплом и постепенно стал вполне крепким графиком. Мои иллюстрации стали появляться в журналах и газетах. Помню непередаваемый восторг от пахнущего краской номера «Юности» или «Литературки», от едва различимого, набранного муравьиным петитом «художник такой-то» или «рисунки такого-то». Дядя Слава с охотным бескорытием помогал: звонил знакомым редакторам, художникам издательств, рекомендовал. Иногда сдержанно, чтоб я не зазнался, похваливал. Помимо здорового честолюбия, естественного качества для любого нормального художника, дополнительным стимулом стал страх подвести дядю Славу. К трудолюбию присоседилась моя чуткая совесть с плеткой в нервной руке. Комбинация оказалась вполне выигрышной и продуктивной.

Жизнь текла (как пишут в толстых романах) своим чередом. Нам стукнуло по тридцать, Веньке в январе, мне в апреле. Мы обзавелись семьями (фраза из того же романа), мы стали видеться гораздо реже. Венька перевелся на заочный — шел десятый год его обучения на журфаке, он кое-как переполз на пятый курс, но диплом так и не получил. Дядя Слава договорился на кафедре, и Веньке нужно было всего лишь там появиться.

— Ну, дадут они мне эту корочку, ну и что? — Ловко скрутив крышку, он разливал ледяную «Столичную» по рюмкам. — Ну и что?

Что тут возразишь: Венька и без диплома работал спецкором журнала «Ньюсуик», но работал, как по кулацкому найму, и терпели его там лишь из-за Шухова-старшего.

— И я не вижу причин... — поднимая рюмку и звучно шкрябая седеющую поросль на груди, декламировал он, — что помешало бы двум благородным донам выпить по стаканчику ируканского.

Стругацких и Булгакова он мог цитировать по памяти абзацами, мой друг был действительно зверски начитан. Любовь к книгам, увы, не спасла Венькиного семейного счастья — жена ушла от него через год.

Да и в целом пейзаж вдруг потемнел, в стране стало скучно и неудобно, точно солнце заползло за угол дома. Возник неожиданный Горбачев с неправильными ударениями и подозрительным родимым пятном на лысине. Меченый — мрачно говорили мужики в очередях за водкой. Их жены люто ненавидели жену Райку. Что-то зрело, набухало, вроде нарыва, каждому казалось, что его кто-то объегорил. Каждому жуть как хотелось найти этого умника и набить ему морду. Дошло до кощунства — в газете кто-то предложил похоронить Ленина. Шуховы покинули Пречистенку и круглый год теперь обитали на даче. Сорок верст по Дмитровке — сообщил мне дядя Слава, диктуя адрес.

Редко, раз в три месяца, я заезжал к ним на дачу. От нашей дружбы с Венькой остался какой-то картонный муляж, внешне румяный, внутри он был набит мертвой трухой. Мы так



хорошо знали друг друга, что разыгрывали нашу вежливую пантомиму почти без усилий, фразы цеплялись одна за другую, привычно, остроумно и ловко. Фразы не значили ничего — куски абстрактной мозаики, гаммы и гармонии, исполняемые вслепую, без участия мозга и сердца.

Дачная кухня, зашита светлой березой до потолка, была точной репликой московской кухни. Включая знаменитый стул на колесиках. Ладная мебель, удобная и простая — понятие простоты не всегда является эквивалентом дешевизны, в данном случае я бы с уверенностью утверждал обратное. Под стеклянным абажуром, разноцветным, точно витражное стекло из готического собора, стоял надежный дубовый стол, простой и грубый. За таким, думаю, вгрызались в зажаренных фазанов разбойники Шиллера или разливали по оловянным кубкам молодое бургундское мушкетеры Дюма. За этим честным мужицким столом, заползая далеко за полночь, тянулись наши сугубо мужские посиделки.

Дядя Слава держался в форме, он почти не состарился, мы же с Венькой заматерели и вполне могли сойти за взрослых. На той дачной кухне у меня впервые появилось ощущение равенства — из наставника и покровителя Шухов-старший превратился просто в хорошего мужика, интересного собеседника и занятого собутыльника.

— А помнишь-помнишь, — азартно говорил он мне, — помнишь, какой клев был на озере? На вечерней зорьке? Помнишь, какой лещ шел? Во!

Он щедро разводил руки. Впрочем, лещ действительно шел отменный — килограмма по полтора, как на подбор.

— А как у нас кончились черви, помнишь?

И это я помнил. Клев был такой, что у нас кончились черви. Веньке дали ключи от «Нивы» и отправили на ферму накопать свежих, он вернулся с полной банкой, но раскуроченным бампером и вдребезги разбитым радиатором — на обратной дороге въехал в не успевший увернуться трактор.

— Ну, да! Прет по середине! — просыпался Венька. — Колхозник хренов! Я вправо, и он вправо, я влево...

— Веня! — хохоча, возмущался отец. — Вправо-влево. Трактор! Это ж не «феррари»!

Тогда нам, впрочем, было не до смеха. Оказаться в лесу с разбитым радиатором, когда в радиусе двухсот километров нет ни одной ремонтной станции — смешного тут, поверьте, мало. Мы кое-как выправили бампер, но системе охлаждения пришел каюк. Обрато в Москву мы неслись со скоростью ветра, наш двигатель охлаждался именно им — встречным потоком воздуха.

— А Эдварда помнишь? Какой самогон, а? Водочка... помнишь?

Конечно, помню. Старик должно быть уже умер — думал каждый из нас, но вслух не говорил ничего. Переехав на дачу, дядя Слава сам начал варить самогон, отчасти из озорства,

отчасти выражая протест горбачевской кампании трезвого быта. Это был протест солидарности с пьющим народом России — Шуховы покупали продукты в «Березке» на Кутузовском, там на спиртное никаких ограничений не вводилось. Самогонный аппарат, как и положено, стоял в подвале. Он напоминал прибор из научно-фантастического кино про космические полеты — хромированная сталь, тумблеры и датчики, сияющий медью змеевик, — аппарат собрали специально для Шухова на каком-то военном заводе. На полках, разлитый по бутылкам, ровными рядами гордо сиял готовый продукт. На самодельных ярлыках аккуратным почерком была выведена дополнительная информация: когда и из чего приготовлен самогон, на чем настоян.

— Вот это попробуй! — Дядя Слава бережно разливал. — Слеза девственницы! На смородиновых почках... Я их ранней весной, когда они только проклюнутся... малю-юсенькие такие...

Насчет девственницы он, конечно, загибал. Сквозь сладкий сивушный дух пробивался яркий свежий полутон, вроде скошенного поутру луга, когда едешь по проселку и вдруг в открытое окно так и пахнет. Что-то вроде того.

— Высший класс! — честно восторгался я. — Старик Эдвард бы одобрил!

Мы закусывали солеными рыжиками из соседнего леса. Грибов было море, зря ты в сентябре не выбрался, сетовал хозяин, я соглашался, да, мол, зря. Он снова наливал, мы чокались и снова пили. Я накалывал на вилку крепкий корнишон, огурцы тоже солились тут, на даче. Дядя Слава мастерил аппетитный бутерброд — на ржаной хлеб мазал злую горчицу, сверху прикрывал тонким куском копченой грудинки. Горчица должна быть внутри, он поднимал рюмку и кивал мне: давай! Я давал.

За зимним окном чернела ночь, в желтом конусе света лениво падали здоровенные, какие-то бутафорские снежинки. Падали медленнее, чем им было положено по закону Ньютона. Да, брат, такая ночь, философски замечал дядя Слава. Обычно к этому часу Венька незаметно исчезал. Не держит градус, сетовал отец. Произносил фразу мрачно, с досадой, я понимал, что дело тут, конечно, не в этом.

Откупоривалась вторая бутылка, я начинал передергивать, половинить. Шухов пил до дна, сосредоточенно и неспешно, с чисто русским уважением к напитку и процессу. Выпив, аккуратно и без стука ставил рюмку на стол. Выдержав паузу, точно прислушиваясь к процессу проникновения напитка внутрь, аппетитно закусывал. Потом он начинал рассказывать, а я слушать. О, какие то были истории...

Шухов знал Гагарина: когда снимал репортаж для «Тайм», несколько дней жил в Звездном, играл с космонавтами в футбол, после в сосновом бору все вместе пили пиво с воблой. С Брежневым он ездил на охоту, после охоты на спор выиграл у генсека часы —

состязались в стрельбе по пустым бутылкам. Вместе с Горбачевым он летал на переговоры в Рейкьявик, а за фото Горби с Рейганом ему присудили «Хрустальный глаз» — главную международную премию в фотожурналистике. Фото это было напечатано по всему миру — в газетах и журналах, сейчас смешно даже вообразить, что когда-то интернета просто не существовало.

Помню мой самый последний визит на дачу. Яркий сентябрьский свет растекался медовыми лужами по сосновым доскам пола гостиной, в окно тянуло вечерним дымком, вкусно пахло спелыми яблоками. Дядя Слава угрюмо мял лицо, мы сидели, утонув, в мягких кожаных креслах. Тогда я впервые услышал про переезд на Кипр.

— Не знаю, может, она и права... — морщась, говорил Шухов. — Продать все к чертовой матери, а? Там цены, на этом Кипре — тьфу!

Он сухо сплюнул. Я молчал. Мне было неудобно и как-то беспризорно, не мог я представить свою вселенную без него. Не мог и не хотел.

— Не грусти! Будешь в гости к нам приезжать. Вон Венька тоже переезжает, — словно угадал он мою тоску. — Море — сказка! Я акваланги куплю, ружья, будем охотиться на макрель. Ты с аквалангом нырял? Нет? Да ты что? Научу, научу... Я ж «Человека-амфибию» снимал, ассистентом оператора, сразу после ВГИКа, первая работа моя. Подводные съемки. Помню, мы с Мишкой Казаковым на спор ныряли — кто дальше, у меня тогда дыхалка была — будь здоров, после водно-половых игр...

Он умолк, точно погас. Точно у него кончился завод, как у тех механических игрушек со стальной пружиной внутри.

— Кипр? — я рассеянно произнес, словно пробуя слово на вкус. Вкус мне не нравился. — Кипр? А как же... как же работа?

Он поморщился, как от зубной боли.

— Работа... И с работой тоже какая-то дребедень... получается. Там ведь все новые теперь — все! Самое смешное, я ведь его еще по Екатеринбург у знаю. Приезжал снимать, когда он там первым секретарем был. Мы с ним потом там накеросинились — мама не горюй! Я у него дома так и рухнул. Утром Наина нам глазунью жарила... по пятьдесят капель налила. Душевная женщина.

Он замолчал, что-то обдумывая.

— Ну, а потом, я уже двадцать пять лет в Эй-Пи. Ну, сколько можно? Вон, мне американцы уже и диплом ветерана вручили — за выслугу лет и творческие успехи...

Дядя Слава засмеялся невесело.

— Понимаешь, у Горбачева порядок был — протокол есть протокол, все расписано. Как в лучших домах Сан-Франциско. У этих... — Он наклонил голову, покачал. — Бардак. Полный бардак! Всем крутит Коржаков, еще та...

Он беззвучно произнес матерное ругательство, я угадал по губам знакомое слово.

Да, я прилетел на Кипр. Прилетел вечером, таксист вез меня какими-то темными дорогами, которые напоминали американские горки. Слева угадывалось море, справа чернели скалы.

— Вон там, — мотнув головой в неопределенном направлении, сказал по-английски таксист. — Грот Венеры.

— В смысле? — уточнил я.

— Там она родилась.

— Я думал, она из морской пены родилась, нет?

— Из пены. Но в гроте — вон там.

Венька жил отдельно от родителей, обитал в двухкомнатной квартире, которые тут именовались важно — «апартаменты». Мы курили на балконе, который нависал над тусклой автостоянкой.

— Старик! Чистой воды рай! — Он проворно откупорил пузатую бутылку бренди, его руки чуть дрожали. — Теплынь! Круглый год лето! Я вот так хожу круглый год, представляешь?

Он сидел в мятых шортах и расстегнутой рубашке полувоенного образца. В пегой от седины бороде прятались какие-то крошки, среди амулетов и цепей на мохнатой груди висело обручальное кольцо бывшей жены. Маринка, уходя, вернула его. Я был свидетелем на их свадьбе.

— В Москве — гнусь! Слякоть! А тут... — Он щедрым жестом обвел спящую под нами парковку. — Мне две штуки за мою халупу на Грузинской платят, тут такие бабки просто невозможно потратить!

Он пьянел на глазах.

— Все тут по три доллара! Все! Вот... — Он щелкнул ногтем по бутылке. — Коньяк! Лучше французского... Три доллара! Килограмм свинины — ши-икарной! Парная мякоть, ни косточки, ни жиринки! Сколько, а?

— Три доллара, — без энтузиазма ответил я.

— Точно! Три доллара!

Дом Шухова-старшего я нашел без труда. Он стоял на горе между двух черных, как обгорелые спички, кипарисов. Театральным фоном синело отчаянно пустое небо. Я вытер лицо

ладонью — Кипр оказался пыльной и потной дырой. Вчерашний коньяк за три доллара тоже давал о себе знать. Близился полдень, солнце заползло в самый зенит, безжалостно лишив пейзаж даже намека на тень.

На подходе мне воображалась просторная вилла с колоннами, посыпанные колотым кирпичом рыжие дорожки, невозмутимый мулат-дворецкий в чалме и в белоснежных перчатках. Черeda пальм, кованая ограда, ну что там еще? Пара пятнистых догов с чуткими лицами? Действительность, как оно и бывает обычно, разочаровала.

Впрочем, пальмы были — две. Была и ограда, правда, не кованая, был дощатый невысокий забор, крашеный белилами. Краска от пыли казалась сизой и в крапинку, как перепелиная скорлупа. Я открыл калитку. Из коренастого дома, слепого, под плоской черепичной крышей, с уродливой спутниковой антенной рядом с кирпичной трубой, доносился настырный говор русских новостей. Я обошел дом; по щербатому углу, цепляясь за побелку, карабкался дикий виноград. Невыносимое пекло превратило ягоды в сморщенный изюм.

Дядя Слава устало сидел под вертикально палящим солнцем, загорелый до медной красноты, грузный, в синих спортивных трусах; за его полированной лысиной топорщила зеленые пальцы коренастая пальма, рядом изумрудным прямоугольником сиял десятиметровый бассейн. Дядя Слава дремал. Он бессильно уронил руку, пальцы разжались, на кафель беззвучно выскользнула русская газета. Массивный, как убитый носорог, Шухов напоминал опального римского центуриона, сосланного в дикую провинцию, выжженную, пыльную и абсолютно безнадежную.

Каюсь, я почти решился сбежать. Мне вдруг стало невыносимо стыдно, такое острое чувство — хоть сквозь землю. Стыдно за него, за себя, за всех нас — людей.

Но он проснулся. Внезапно открыл глаза и, как всякий спящий, застигнутый врасплох, начал излишне бодро и много говорить, делая вид, что вовсе и не спал.

— Как чудесно! Молодец! Молодец, что наконец добрался! Венька говорил, что ты... да, но когда, когда... А ты вон — тут! Будем шашлыки сегодня по такому случаю жарить! Ты не представляешь, тут свинина — блеск! Ни жиринки — мякоть! И всего три доллара за кило. С ума сойти! Тут вообще все — три доллара! Коньяк отменный, не хуже французского, знаешь, сколько стоит?

Если бы я придумывал эту историю, то где-то тут и поставил бы точку. Дописал бы еще пару фраз с претензией на незатейливую философию, что-нибудь о зыбкости бытия, о фатальном стремлении мироздания к равновесию. Банальное утверждение: реальность груба и не ограничивается легкостью намека. Жизнь презирает сопливую акварель, она, засучив рукава, пишет маслом. Пишет пастозно, жирными мазками, открытым цветом. Любит контрастные

сочетания — рядом с красным кадмием кладет зеленую изумрудку, к ультрамарину добавляет лимонный стронций.

Прошло несколько лет — семь? девять? одиннадцать? — время, как я уже говорил, штука хитрая: чем дольше живешь, тем меньше эластичности остается в этой необъяснимой материи — из гуттаперчевого оно постепенно становится деревянным, после — оловянным, а под конец — стеклянным. В октябре (это я помню точно) говорил с полужнакомой москвичкой по телефону, под конец, уже прощаясь, в скороговорке среди неважных и стандартно-вежливых фраз (непреренно, если будешь у нас, и ты тоже, непреренно), она мимоходом обмолвилась, что Венька умер, добавив ледяное — ты его знал, кажется.

Кажется...

Я с размаху рухнул в прошлое. Оказывается, ничто не исчезло, все просто спряталось, затаившись под ледком. Услышать о смерти самого близкого друга твоей юности вот так, между прочим, да еще спустя пять месяцев после этой самой смерти — это ли не оплеуха всей твоей жизни, твоей совести, чистоплюйству и порядочности, которыми ты так гордишься!

Ты его знал, кажется?

Кажется, да.

В трубке пели короткие гудки, у меня не было воли нажать отбой, точно этот сигнал был последней пунктирной прерывистой нитью, соединяющей меня нынешнего — предателя, иуду и подлеца — со мной прошлым — человеком относительно порядочным. Эта связь казалась жизненно важной. Как тот бегущий огонек осциллографа, что регистрирует биение сердца. Прерви ее — и уже не будет возврата к себе прошлому.

Беспощадно услужливая память воскресила проклятый Кипр, безнадежный полуденный свет, слепящие блики в малахитовом бассейне. Нокаут шока сменился осознанием новой боли — ведь я предал не только Веньку! Пять месяцев! Что он думал все эти пять месяцев обо мне?! Я зарычал и саданул кулаком в стену. Боль помогла. Слизывая кровь, бросился к письменному столу. Выдернул средний ящик, вывалил содержимое на пол. Среди кучи пестрого канцелярского хлама — карандашей, ручек, фломастеров, ластиков и гитарных медиаторов, среди коробок со скрепками и кнопками, сломанных наручных часов и маленьких батареек, обрывков бумаги с таинственными номерами телефонов и именами напрочь забытых людей без фамилий, среди этого мусора я нашел карманную записную книжку. На черной коже тисненым золотом был выбит год из прошлого тысячелетия. Нашел Шухова — у Веньки было какое-то невероятное количество телефонов. Свои собственные каракули, писанные не всегда трезвой рукой, разбирались с трудом. Верхний — самый первый номер, еще тот, родительский, на Пречистенке, я помнил и сейчас. К последнему, в самом низу, было приписано «д.Сл. — Кипр».

Не раздумывая, схватил телефон — я боялся думать, знал, что запросто смогу найти дюжину логично ловких причин не звонить, не звонить сейчас, собраться с мыслями и позвонить потом. Все я знал — именно этими отполированными до блеска аргументами, скользкими, как морская галька, мелкая и звонкая, я научился мастерски ловко засыпать свою совесть. Закапывать, с горкой. Из телефона поплыли длинные гудки. Никто не брал трубку. Я ждал. Не включился неизбежный автоответчик. Я ждал. Гудки плыли и плыли. Безнадёжно уносились в пустоту, словно я звонил в открытый космос.

Я брел по белому от зноя и пыли Пафосу. Покатая улица в трещинах с пучками желтой травы, спотыкаясь, спускалась к морю. Линялое, неподвижное и светло-серое, оно напоминало кровельную жёсть. Справа виднелся приземистый отель, тоже скучный, похожий на недавно отремонтированный барак, перед ним толпились мелкие лавки с туристским хламом. Шляпы из соломы, майки, открытки. Развешанные, как для просушки, солнечные очки стреляли меткими зайчиками по неведомым мне мишеням. Покупателей не было, прохожих тоже. У тумбы с драными, выгоревшими афишами, в куцей фиолетовой тени, высунув розовый язык, спала рыжая собака.

Пот противно стекал по спине, но куртку я так и не снял, моя рука сжимала теплое липкое горлышко бутылки с местным коньяком.

Вышел на безлюдный пляж, кое-где на лежаках коптились неподвижные тела разной степени прожаренности. Справа виднелись невысокие скалы, там кончался песок и начинался дикий берег, утыканный красноватыми камнями почти марсианского вида. Нутро мое постепенно заполняла липкая и тяжелая, как черный жирный дым, пустота. Я шел и шел, пока убогая цивилизация за моей спиной не скрылась из виду.

Три часа назад я прилетел, добежал до стоянки, взял такси. Все делал спешно, почти судорожно, словно боясь куда-то не успеть. Дом на горе был заколочен, бассейн затянут седым брезентом. На заборе висела яичного цвета доска с надписью «Продается!», тут же телефон агента. Агент оказался женщиной с театральными бровями, выведенными жирной сажей. На агенте был чуть ли не кримпленовый брючный костюм такого же яичного цвета, что и ее объявление о продаже.

Женщина появилась почти молниеносно, точно пряталась за углом. Подъехала на белом «мерседесе», древнем, примерно моего возраста. С тем же смешным акцентом, но на куда более приличном английском, чем у таксиста, она скороговоркой произнесла заученный текст про гостеприимство киприотов, про Венеру и ее грот, про солнце и море, про невероятно гуманные цены на все, включая недвижимость. Под конец, жестом фокусника, извлекла откуда-то

бутылку местного коньяка и сунула мне в немые руки. Короткое вступление заняло минут пять. Не останавливаясь, она перешла к основной части — продаже.

Мне все-таки удалось ее перебить. Она замолчала, сразу как-то постарела, стала еще меньше ростом. Я повторил, хотел что-то добавить для убедительности. Она молча вынула из желтой сумки круглые, как колеса, солнечные очки, надела. Дважды отразилось мое нелепое лицо, изогнутое, как в объективе «рыбий глаз». Мы стояли у забора, указательным пальцем она поправила доску «Продается!». Потом начала говорить, но другим голосом, низким и монотонным, таким в фильмах вещают медиумы. Ее глаз я не видел, только свое отражение.

Венька умер от рака печени. Наверное, это называется цирроз, не знаю, она сказала рак. Он отказался от лечения, после диагноза переехал сюда — она кивнула за забор. К родителям. Через месяц после похорон скончалась его мать. Тетя Люся. Умерла во сне, в кресле перед телевизором. Дядя Слава лег спать, а она так и просидела, мертвая, до утра перед включенным телевизором, настроенным на первый канал российского телевидения. Сам дядя Слава умер совсем недавно, два месяца назад. Его сожгли — он так просил, — пепел развеяли над морем. Она говорила еще что-то, но я уже не понимал ни слова. Я повернулся и пошел в сторону моря.

Я забрался на коричневый валун, похожий на пьющего бизона. Залез на самую холку, задыхаясь, содрал с себя куртку, стянул мокрую рубаху. Горло мне свела судорога, я сипло втягивал воздух, горько-соленую вонь сырых водорослей, гниющих на камнях. Вдруг ясно-ясно вспомнил последний разговор с дядей Славой, наш самый последний разговор. В каждом слове внезапно проявился скрытый смысл, чуть ли не пророчество. Как же я тогда ничего не понял? Ведь так ясно!

Я сел, камень был теплым, как человеческая плоть. Скрутил пробку, запрокинув голову, начал глотать коньяк. Нагретое пойло мешалось со слезами, я давился, но пил. Липкие струи щекотно стекали по шее, капали на грудь, на джинсы. Внизу, шипя пеной, равнодушно ворчалось Средиземное море. Море, в котором нам так и не удалось поплавать с аквалангами, не получилось поохотиться на макрель. Море, в котором он растворился. Горизонт потемнел, постепенно исчезла граница между водой и небом, теперь уже было не разобрать, где кончается мир земной и начинается мир небесный.

Тогда дядя Слава мне сказал: «Не благодари меня. Я не сделал для тебя ничего особенного. Ты бы сам поступил точно так же. Может быть, в этом и есть смысл жизни — помочь друг другу с наименьшими потерями добраться до кладбища, а?»